

Алина Рейнгард

Музыка Львиного Сердца

*Мой лёгкий музыки полёт!
Слова выделяваю — влёт!
Уверен, искренен их путь,
Его придам я как-нибудь!
Любовь отполирует всё,
И песня золотом споёт!
И защитит меня оплот —*

*Вовеки защитит меня!
Ведёт меня день ото дня,
Я им живу, ему служу,
Я лишь ему принадлежу.
Пусть ветер дует — но любовь
Моё затопит сердце вновь
Среди зимы волной тепла.*

*Я столько месс ей закажу,
Я столько воска ей сожгу,
Чтоб лишь удачу дал мне Бог —
Свою любовь сразить не смог,
Меня она сразила вновь!
О, златовласая любовь!
С тобой Люцерна не нужна...*

Зачем мне дальние края?
Из сердца вырвал бы тебя,
Когда б любовь моя могла
То сердце затопить дотла,
Которым любишь ты, мой свет!
Таверна есть. Работник. Век
Тебе служить готов лишь я!

Зачем мне Рим? Империй власть
Не даст мне истинную страсть!
И Римским стать я не хочу!
Я без тебя не полечу,
Боль жжёт, по сердцу вновь течёт...
Вернись ко мне хоть в Новый Год!
Тебе я ада не хочу,

В котором будешь без меня.
Страдаю — но люблю тебя!
Пусть я один, пусть без тебя,
Зато слова рифмую я!
Как сложно, Боже, мне писать!
Порой сложнее, чем пахать...
Я пуще рыцаря люблю
Не землю, но любовь свою!

Я ветер горстью соберу,
На зайца — на быке пойду,

Ведь я — Арно — тебя люблю!

Арно Даниэль, XII век

I

*Когда поёт листва
и крона вся дрожит —
то холод бьёт. Сперва
от корня путь лежит,
затем звучит припев...
и дереву конец.
Но не умрёт любовь.
Во мне — её венец.*

*И всё теперь во льду,
но я не мёрзну, нет.
Во мне любовь живёт,
её пылает свет.
И мне не умереть —
любовью скрыт от бед!
С любовью — песню петь!
И жить, как будто нет*

*тоски, печали, нет
сомнений, нет тревог,*

*лишь радости мой свет,
лишь светлая любовь!
И я не знаю, как
сказать, в чём я неправ:
завет я свой блюду,
всё прочее поправ.*

*Кого же мне винить?
И как мне быть теперь?
Любовь свою виню —
увы, вина лишь в ней!
Ведь среди всех, кто с ней,
такого нет, как я...
И никому не быть
таким же, как она.*

*И не хочу себе
другую я любовь.
Чтоб бросила меня?
Чтоб улетела вновь?
И нет, я не боюсь,
что в Понтремоле всём
достойного — как я! —
соперника найдём.*

*Одна моя любовь
несёт мне счастья свет.
И победит она*

*суровых тридцать лет:
Своею красотой,
и песнями, что я
пою их день-деньской...
тебе, любовь моя!*

*Ну что же ты? запой
и ей покажись скорей!
А нет — так и не стоишь
ты песен Арно, поверь.*

Arnaut Daniel

— Какая жалость, что ты не мальчик.

Мама говорит строго, а сердце у меня бьётся всё сильнее. Никогда не думала, что можно настолько сильно ощущать биение своего сердца. Понятное дело — если что-то страшное увидеть... Но что тут увидишь, своими кротовыми глазами? У меня до болезни было превосходное зрение, все мной гордились. Неудивительно, что теперь, после того, как я снова хожу и даже пытаюсь что-то писать — чернилами! писать! с изъеденными оспой глазами!.. — словом, теперь, когда с постели меня всё-таки подняли чудодейственные травы нянюшки и горячее молоко от нашей коровы, теперь я всё-таки что-то вижу, и это ещё вчера было

радостью.

— Что бы мы делали со слепой дочерью? — это были едва ли не первые слова отца, когда он понял, что я всё-таки — вижу. У соседей сын переболел оспой и зрение совсем потерял, ну да он и до болезни видел не самым лучшим образом, а я вот — молодец, видимо! Хотя, конечно, обидно. У тебя любимый ребёнок от смертельного недуга излечился, а ты только о том думаешь, что зрение у дочки на месте...

— Была бы ты мальчиком, Арне́тт, твои рытвины на лице ничего бы особенного не сделали. Ну да, конечно, девушки, скажем так, желанием бы выйти за тебя замуж не горели, но всё-таки мельница... Конечно, ты не единственный ребёнок, но мельница же всегда прокормит. Жену в дом — пусть не высшего сословия, но трудолюбивую, которой нужен был бы хороший парень в мужья. И полная чаша — еда есть, хозяйство есть...

— Мама? — удивляюсь. — Мама, но что... но рытвины... они же после оспы обычное дело... вот соседский сын...

— Вот разве что за соседского сына тебе теперь и идти, — снова вздыхает мама, — если он невесту получше себе не сыщет. А он сыщет, почему нет. Он же мальчик, не девочка... Арнетт, как же ты не понимаешь! У тебя личико пусть не писаной красы было, но всё-таки лицо как лицо,

приятное. У отца мельница, у нас поместье... Нашли бы тебе жениха. А теперь кого найти?

Не понимаю. Они должны бы радоваться, что я выжила. А они — что? А какое им дело?! Ладно, они — мать. Но ведь если она так вздыхает, вряд ли отец и другие думают иначе... Нет, не понимаю. Я выжила, я жива. Я пролежала несколько недель в тёмном сарае — туда меня вынесли сразу же, чтобы не заразила оспой братца. Помню нянюшку, помню молоко — завтрак, обед, ужин — всё молоко! А её... а её волнует теперь, после того, как я болела в сарае, без близких вовсе, никто, кроме нянюшки, ко мне не подходил... Теперь её волнует только то, что меня не смогут отдать замуж!

И если бы я была мальчиком — что бы изменилось?! Сказали бы... ох, как меня звали бы... ах да, если Арнетт, то Арнот, ну то есть Арно — правильно, в мужском имени буква «т» читаться не будет... сказали бы: «Арно, как хорошо, что ты мальчик, теперь ты можешь с чистой совестью жениться, несмотря на рытвины, мельница стоит, жену твою прокормим... хотя какой милый раньше был, на богатую невесту больше шансов... ну да ладно, у нас остался твой брат...». Так, что ли?! Им... ей... нет, всё-таки им... важнее, чтобы я была замужем... или, будь я мальчиком, чтобы я был женат... им важнее мой брак, чем моя жизнь?!

Моя жизнь вообще всегда была жизнью довольно неплохой. Бескрайние луга Окситании, наших провансальских земель, нашего благодатного края! Ручей, в котором можно купаться летом — и пусть мать ругает, что я, как деревенские дети, в воду лезу, мне нравится, и я так и буду делать, у меня летних платьиц, чтобы в них купаться, хватит!.. Потом, правда, я подросла, и мама возмущалась, что у меня платье к груди пристаёт, нехорошо это... пришлось у братца одежду таскать, он злился... так что оставалось купаться едва ли не перед рассветом, чтобы никто ничего не увидел. Но всё равно — поля, луга, цветы, множество цветов! Порой занятия с учителем, конечно — чтение, письмо, языки. На нормандском наречии я говорила очень даже ничего — у нас и конюх был из Нормандии, и учитель помогал язык освоить. Но вообще, конечно, в основном английский. Англия — большая страна, язык Англии надо знать приличной девушке из хорошей семьи!..

А ещё — музыка. Когда мне подарили лошадь — ну как подарили, просто сказали, что Белянка теперь моя, раз я большая девочка и ездить верхом умею, — я сразу же начала скакать в поместье, что за рощей, послушать, как играет на лютне Эдва'р, наш сосед. У него коровы, ферма, больше дохода, в общем, и нет. Вечно сокрушался: «Что, Арнетт, ты

пигалица, не на выданье ещё даже, а тебе лошадь уже вот взяли и справили родители, а у Эдвара и хилой кобылки-то нет!», но мне казалось, что он здесь — главный богач. У Эдвара ведь была лютня! И я, долго ли коротко ли, начала проситься, чтобы он меня играть научил. Дома, конечно, стояла арфа — я же приличная девочка, из хорошей семьи, музыку знать должна. Но что арфа, когда лютню можно взять в руки — и идти! И играть! И петь!

И — любовь. Много, много любви. Пусть пока и непонятно, к кому — я её чувствую. Я знаю, что рано или поздно придёт человек, которого я полюблю, который полюбит меня. И он будет так же, так же безумно, так же до бессилия, как я, любить музыку. Потому я и должна любить музыку сейчас. Чтобы так же, как он... Мне часто снятся сны. Иногда вещи — я всегда знаю, кто когда умрёт, а кто будет жить, несмотря на болезнь. Так, я знала, что от оспы выживу, обязательно выживу. И Он... Он мне тоже снится. Я знаю, что он тоже играет на лютне. У него светлые, чуть рыжеватые, волосы. Он высокий. И он хочет меня обнять — просто за то, что я есть, и что я тоже люблю музыку.

Он достоин музыки, а музыка — достойна его. Он достоин моих песен. И кому нужно лицо, на котором у меня — о Боже, страх какой! — рытвины! Ведь то, что я могу играть на лютне,

важнее. Куда важнее.

Лютня — это путь в небеса. Путь к свету. Музыка — это то, что делает человека по-настоящему прекрасным. Мне не нужно быть ничьей женой — это то, чего от меня хотели бы родители. То есть меня не смущает такая перспектива... но только с тем человеком, который действительно любит музыку так же, как и я. Который будет со мной всегда, потому что любовь у нас к одному и тому же. А значит, нам незачем расставаться.

Я думаю об этом, а мама не понимает:

— Бедная ты моя, Арнетт, девочка. Если мы мужа тебе не найдём, что же будет-то? Останешься ты жить у брата, при мельнице... Мы с отцом умрём скоро... — да-да, конечно, всегда они «умрут скоро», сколько лет уже слышу! — а ты тут одна останешься, без мужа... Брат-то твой старший тебя в обиду не даст, но что ты делать-то при нём будешь? Ты же ничего по дому не сделаешь нужного... у тебя же глазки... ты же не видишь теперь почти ничего...

Ну, во-первых, не ничего, а вижу. А во-вторых — о чём ты говоришь, мама?! То есть всё, что я могу — это быть женой или страшно полезной сестрой?!

— Да и замуж-то тебя, с твоими-то глазами,

кто возьмёт на самом деле... Тут бы либо рытвины, либо глаза. Красавица и белоручкой быть может. Уродина — трудолюбивой...

Обижаюсь страшно.

— Я — уродина?! Мама, какие-то там рытвины меня уродиною не делают!

— Мужчины так не подумают, дочь моя, — торжественно-траурно говорит мать. И я понимаю, что, будь я мальчиком, шла бы та же речь: с мельницей не управлюсь, за хозяйством не прослежу, вся надежда на жену работающую. Так что, будь я мальчиком, не сильно бы изменилась ситуация.

— Я вообще, может быть, хочу играть на лютне! — возмущаюсь.

— На лютне?! — Мама широко раскрывает глаза. — Что тебе даст эта лютня? Будь ты красавицей, могла бы на арфе в богатых домах играть, конечно. А так... ты же не мальчик, бродячим менестрелем заделаться!

Бродячим менестрелем.

Это мысль.

Эдвар будет счастлив, если я предложу ему Белянку в обмен на лютню. У нас всегда как-то несправедливо всё было: мне лошадь, ему лютня. Надо, чтобы мне лютня, ему лошадь! И тогда, тогда всё будет как надо! Тогда можно будет уйти в менестрели, и не переживать больше о том, что от

меня хотят... страшно представить... замужества!

— Да даже будь ты мальчиком, — продолжает мать, — где это видано, чтобы дворянский сын науки бросил да менестрелем по дворам бродил?!

— А мне науки уже и не нужны, — бросаю.

— Ну так ты же не мальчик, так долго учиться. А была бы мальчиком, выучилась бы, женилась... женился. А так... замуж тебя не отдать. Ох, что мы с тобой делать-то будем...

Этот подход меня категорически не устраивает.

Я — любимая дочь! Или всё-таки это брат мой — любимый сын?.. Он оспой не болел, у него и глаза в порядке, и рытвин на лице нет. Вот его и будут теперь любить, что ли? А со мной не знать, как быть и что делать?! Ни замуж, ни в работу?! Бессмысленная обуза, лишний рот?!

Да они хоть слышали мои песни?!

Слышали, конечно. Сколько я пела — пусть и без лютни, просто в голос. И даже под арфу. Свои, между прочим! Нет — «всё ужасы какие-то пишешь», «нет чтоб о свете, о Господе Боге, о благодати», «какая любовь, надо о чём-то хорошем думать», «писать о смерти нечего, накличешь!».

А любовь, значит — нехорошее?!

Нет, я всё понимаю, мама за отца вышла по воле родителей. И брата то же ждёт — подыщут

ему невесту... Хорошо, что нас из всех детей только двое выжило. Не могу представить, кому можно пожелать жить в такой семейке.

Что я там говорила? Что жизнь моя была неплохой? Ну да — когда я с ними особо не пересекалась. Когда о них лишнего не думала. Когда всё, что было — это луга, поля, ручей. Или лютня. Лютня, на которой можно играть. Часами. Если бы получилось, то и днями, ночами, снова днями... но меня бы хватились дома, а ещё от такой длительной игры всё-таки устают руки.

Зачем мне лошадь!.. Что я, к Эдвару пешком бы не дошла? Что там идти, за рощу?! Скакала, потому что так быстрее получится, и только. А так — шла бы. Если надо — бежала. И с глазами своими нынешними, которые почти не видят — тоже бежала бы. Потому что музыка. Потому что любовь. К музыке? Или к тому, кто будет любить её вместе со мной?..

Иногда мне кажется, что мой возлюбленный родится из моих песен.

— Откуда у неё, — сокрушалась как-то мама, — всё вот это вот, о любви? Нянюшка вроде вредных историй особо не рассказывала! Учитель — тот и подавно! Он вообще больше с сыном занимается, дочку так учит, заодно, чтоб уже хорошей невестой выросла... А она всё — о любви

да о любви песенки свои пишет!

Мама, я просто вижу вещие сны. И знаю, что однажды встречу Его.

Но как же я встречу, сидя тут, дома?! А если меня, чего доброго, отдадут замуж за сына соседа?! Правда, замечательно будет! Всё, что этот сын соседа от меня-переболевшей захочет — детей, да побольше! Нянюшки, мол, вынянчат! Всё равно по дому я непригодна, да и вообще проку во мне...

Он, наверное, даже не слышал, как звучит лютня. А если слышал, не отличал от бляения козы.

Не хочу так! Не хочу совсем! Не хочу оставаться в этом доме! И пусть здесь родные края, пусть зелёные луга, и цветы полевые, и ручьи, и цветущие деревья... Я хочу писать песни, и чтобы их слушали. Я хочу дышать музыкой, и чтобы было кому в ответ дышать мной. Чтобы стало кому однажды...

— Мама, — шепчу, — я утомилась. Пойду посплю немного!

После болезни меня всегда легко отпустят спать среди бела дня.

Надо было бы подумать, сказал бы наверняка учитель. Думать?! Что тут думать! Я не буду больше с ними жить, если я больше им не нужна — с рытвинами на лице! Всё, что у меня есть — это моя музыка, и я буду любить её, чтобы она любила меня! Иду вместо своей спальни в спальню брата.

Так, вот штаны, вот куртка — полотняная, удобная, как раз хороша для такого пути. Вот сапоги — великоваты, ну да ладно, мха туда накидаю. Хорошо, что у братца есть ещё сапоги, кроме тех, в которых он пошёл отцу на мельнице помогать! Ладно, надо бы еды с собой взять... хотя нет, за лошадь мне Эдвар не только лютню, он мне целый мешок еды наложит, сколько лошадь стоит, а сколько лютня, хотя лютню ещё поди достань-раздобудь. Если я буду ждать, сомневаться, печалиться — ничего хорошего из этого не получится! Я же ещё, чего доброго, передумаю! Прощу её!

Но на кровать свою всё-таки падаю, заглянув в свою спальню на минутку. Просто — поплакать. И взять, конечно, чернил, письменных принадлежностей... Надо же куда-то записывать песни.

Больше плакать нельзя, это в последний раз. Я больше не Арнетт. Я — Арно! Арно Даниэль, бродячий менестрель дворянского чина! Хотел жениться на возлюбленной, она за другого замуж вышла, а родители хотели и мне другую невесту подсунуть, дочь соседки — так что теперь ведёт меня только любовь к музыке! Хватит, я больше не буду любимой родительской дочкой! Зачем оно надо, кому оно надо. Вот это вот быть той, которую только замуж и можно пристроить?! Я хочу быть

кем-то, кто и сам по себе представляет из себя что-нибудь!

Переодеваюсь в вещи брата. Поправляю на лбу шляпу — её тоже в последнюю минуту стащила, она у него для торжественных выходов, а у меня вот он — главный торжественный выход! Что ж — я мальчик. Я очень даже мальчик. Тем более с такими рытвинами на лице. Хотя я не просто мальчик, я близорук. Может, чего-то не увижу, не замечу. Может, я куда больше девушка на вид, чем мне кажется...

Что ж, тогда я паду в лесу от рук разбойников. Не убила оспа, так убьёт лес. Или не убьёт, таких снов я не видела ни разу. Но лучше уж умереть в лесу, с лютней в руках, чем стать женой какого-нибудь одутловатого незрячего придурка, который будет хотеть только наделать мне кучу детей!.. И умереть, конечно, в родах однажды. Слышала я, что оспа просто так не проходит, что зрение уже начало теряться — так при родах ослепнешь... А если ослепну — точно умру. Вот просто потому, что не захочу больше жить и мира не видеть.

Мать сидит у себя, это другой конец дома. Не услышит — мало ли тут звуков, в округе? Но скакать, конечно, нельзя — уж цокот копыт-то точно различит. Так что тихонько выбираюсь из дома, дохожу до конюшни, отвязываю Белянку.

— Ты уж прости, девочка, — шепчу, — но Эдвар тебя больше будет любить, чем я.

На самом деле тяжело и больно. Пускай я никогда слишком сильно лошадей не любила, да и к чему мне лошадь в моей новой жизни, но это что-то, что моё. А я его отдаю. Беру и отдаю, пускай хорошему человеку. Живую лошадь — за бездушную лютню. Хотя какую там бездушную... Музыка — это самая что ни на есть живая душа. Душа лошади — тоже, конечно, хорошо... если есть у неё вообще эта душа, она всё-таки скотинка бессловесная. Но я бы лошади поиграла... поиграл. Я теперь мальчик. Нельзя путаться в родах. Так и буду думать — от мужского лица. А то выдам себя — и дело с концом, и вернут домой в лучшем случае, а в худшем... ну да, паду в лесу от рук разбойников, что я ещё могу. Я бы поиграл лошади, если б мог. Как всегда, когда к Эдвару приезжала... приезжал. Белянке, кажется, нравилось.

Но теперь я буду идти совсем к другому будущему. К тому, где мне будет для кого жить.

Аккуратно веду Белянку за поводья, шагом, шагом, по траве. Чтобы только не громкий цокот копыт! Белянка недопонимает, неторопливо бьёт копытом, шикаю, шепчу, чтобы тихо шла, чтобы молчала... По счастью, забредаем в рощу, глубже, ещё глубже... Всё, вот тут уже и оседлать можно.

Впрыгиваю на лошадь, скачу. Эдвар совсем рядом, скоро у меня будет лютня а у него лошадь!..

— Арнетт? — Эдвар глазам своим не верит. — Ты зачем так вырядилась? И где ты была-то? До меня слухи дошли, болела?

Тут он видит наконец моё лицо.

— Девочка моя! Да никак оспа?!

— Не девочка, а мальчик, — парирую, спешиваясь у дома Эдвара. — Не Арнетт, а Арно. И не никак, а как. Оспа. Закончилась. Только теперь я никому не нужна.

Эдвар не понимает.

— Рытвины у меня на лице! И вижу плохо! Кому я теперь сдалась. Мама переживает, что замуж меня не отдать. Так что хватит, лучше быть мальчиком, музыкантом. Бродячим менестрелем. Эдвар, отдай лютню за лошадь, а?..

Он молчит. Стоит, изменившись в лице, и смотрит на меня. Ему давно за тридцать, пожилой уже. Вдовец. Давно всех потерял. Давно один. Наверное, я ему была одним только близким человеком.

— Ты ко мне можешь перебраться, — наконец шепчет.

Смешно.

У него лютня, он на ней играет. И он куда лучше соседского сына. И не будет требовать от меня кучу детей, уже всех своих потерял, ещё не

пожелает, сам говорил. И жить с ним будет тихо, спокойно. Музыка. Коровы — всегда прокормят...

Только я не хочу так. Он не любит музыку — так, как я.

И он не светловолос. Не высок. Стар.

Да ладно там — невысок и стар. Он не любит музыку. Он играет на своей лютне — но зачем оно ему? Она у него просто есть. Он не будет за неё — как я. Ему музыка — не путеводная нить. Не ангельское пение. Не зов с небес. Ему музыка — развлечение.

А я не хочу, чтобы моя любовь была развлечением. Ведь она развлечением и будет! Если даже Эдвар на мне женится — никакого смысла в том. Кем я буду Эдвару? Молоденькой девчонкой, которая теперь у него живёт, пришла разделить старость? А потом я овдовею, и как мне, кстати, с коров прокормиться, если я делать ничего не могу? Брать и лютню, и лошадь... которая от старости помрёт к тому времени... и идти снова менестрелем по трактам? Вот только возраст уже может быть не тот. Силы — не те. Откуда я знаю, сколько я после оспы проживу. Откуда я знаю, как скоро зрение потеряю. Нет, если я хочу встретить своего златовласого музыканта, героя моих снов — надо идти вперёд. Сейчас. Или никогда.

— Эдвар, — шепчу, — прости, но я... правда хочу на тракт.

Он смотрит на меня долго, потом, вроде бы, понимает.

— Тебе всегда музыка была дороже людей, да?

Киваю.

— Я видел. Знал. Потому и... в общем, не везёт мне в жизни. Женщина, которая любила меня, умерла давно. Женщина, которую мог бы полюбить...

— ...теперь мальчик, — перебиваю его. — Арно Даниэль, запомни. Ты моё имя ещё наверняка услышишь! Поверь, я добьюсь чего хочу. Мои песни будут звучать на всю Окситанию! Да что там — на Англию даже!

— Я верю, — вдруг говорит он, и отеческим жестом гладит меня по голове. — Иди, Арнетт... Арно. И... спасибо тебе за лошадь.

Да уж, лошадь ему явно прекрасным подспорьем в жизни будет. Сколько он сокрушался, что у него одни коровы.

Только бы родители у него Белянку не отобрали! Хотя... с чего бы. Честно скажет: сын ваш продал лошадь, купил лютню. Ну то есть дочь, конечно, но теперь она сын, вы же хотели, чтобы лучше она была мальчиком... А лютня — ценность. Отец поймёт. Белянку забирать не будет. Да и сам Эдвар не отдаст. Не маленький, отстоит уже свою лошадь.

Так что пора мне, пожалуй, на тракты. Только самое последнее забыл-забыла... забыл.

— Эдвар! Ты мне еды на дорогу дашь?

Он молча идёт в дом, я тем временем привязываю лошадь, снова поправляю шляпу, глядясь в своё отражение в луже у дома. Хороша! То есть хорош. Близорук, конечно, но, пусть даже с рытвинами на лице, в мужской куртке да в шляпе смотрюсь так ничего. А когда лютню в руки возьму — так вообще будет прекрасный же бродячий менестрель!

Эдвар выходит из дома, выносит мне холщовый мешок.

— Ну, я туда всякого сложил... хлеба на первое время, трав всяких... Ты же, надеюсь, понимаешь, что играть в богатых домах надо? Чтобы там накормили? — Надо же, заботится.

— Да уж как-нибудь догадываюсь, — смеюсь. Сегодня мне всё равно ночевать в лесу. И с моей новоприобретённой близорукостью уж явно лучше с едой в мешке, чем даже с самым лучшим оружием. Всё равно никого не настреляю, и тем более не приготовлю. Да и жалко мне их — лесных тварей... Можно было бы рыбы наловить, да я и правда просто её не увижу.

Забираю у Эдвара мешок. Забираю принесённую им лютню — молодец! Не подвёл! Не стал меня задерживать правдами и неправдами — а

то ещё захотел бы песен напоследок... Впрочем, потому, может, сразу и принёс?

Улыбаюсь, цепляю лютню на плечо, разворачиваюсь:

— Пока, Эдвар! Не скучай!

И ухожу в сторону тракта, напевая вполголоса:

«...Не стоишь ты песен Арно, поверь!..».

II

*Ну, давай же, запой,
ей скорей покажись!
Если ты не такой,
быть Арно не заслужил.*

*Я не держал — она меня
держала в хватке: не пущу!
я в гневе — рад, в уме — дурак,
и не дерусь, и не ропщу.
Коль любишь — не сразишь себя!
любовь ведёт тебя,
а ты ей служишь, да!
и я служу,
гляжу —
ответ мне — да,
неважно мне, когда!*

*О том, что в сердце, расскажу:
Я перепуган вновь.
Мне кажется, что не смогу...
Но прёт наружу боль!
Не буду никогда
Жалеть. Ты — не беда!
И пусть вокруг моря
обнимут землю вновь,
но не найду такой,
как ты, моя любовь.*

*Я знаю, как ты мне ценна,
от правды не уйти.
Я знаю, сердцу больно, да,
и день и ночь в пути,
и в сердце нынче море, но
поверь, мне просто всё равно!
Оно — беда!
Но — ерунда!
Кто свет зажжёт, неважно, да.*

*Тот глуп, кто превращает в боль
речей прекрасный свет.
Он болен, Богом проклят он,
ему слов добрых нет:
один шепнул, другой схватил,
и больше нет любви:*

той, что была сладка!
Но мне — борьба!
Режусь любить
тебя всегда, всегда!

Вот почему я счастлив, да!
Она взрастит меня:
я стану светом навсегда,
не страхом, не тоской! Беда
мне не придёт ведь никогда,
пока любовь зовёт меня...
...грустить? О нет! Я никогда
не буду плакать, нет,
и свет
любви, что видел я
слабее пламени... тебя!

Так много песен спел бы я,
когда пришла б ко мне она,
и радость сердцу принесла!
Я твой навек, любовь моя!
С тобою — навсегда!
Пусть спросит кто меня:
свободен от тебя?
Принадлежу!
В неё гляжу:
В любовь свою! Она
Свободы не дала...

И что ж, пусть так!

Мой знак:

та песнь, что я пою,

Арно! И я — люблю.

Arnaut Daniel

А в лесу, однако, темно.

Я это понимаю не сразу — как бы сразу и вечер не наступает. Я иду через лес, это самый правильный путь. Лучший способ заработать денег — так, чтобы и на еду хватало, и можно было бы, если очень-очень повезёт, подумать если не о лошади, то о путешествии с проезжими телегами — это отправиться на ярмарку в Арль, в столицу. А до Арля несколько дней пути так точно. Через лес. По тракту — больше. Но через лес я смогу порой выходить с поместьям, предлагать им свои услуги — как музыканта. Это между нами и Эдваром, по сути — роща. А пройдёшь по тракту с час, удаляясь все дальше от родных мест — начинается буйный лес, в котором, конечно, и солнце сквозь кроны деревьев пробивается... но именно что днём.

Стала бы... стал бы я в здравом уме, будь я Арнетт Даниэль, а не Арно Даниэлем, ночевать в одиночку в этом лесу? Разумеется, нет. Но начнём с

того, что я бы и по тракту пешком путешествовать не стала — чтобы прикорнуть на обочине, а на твою лютню, да и на тебя, любой проезжий позарился? И продолжим — тем, что я сейчас практически в рабстве у любви, потому и уйти с дороги не могу — она велела, я иду. К человеку, который мне ещё не встретился? К музыке? Да какая разница. К тому, чтобы меня ценили. Если меня не ценят родные, себя буду ценить хотя бы я.

Потому что даже те люди, которые испытывали ко мне довольно сильную нежность — нянюшка, или Эдвар — на самом деле любили не меня, а то, что я у них есть. Эдвару нравилось, что к нему в гости ходит молодая девушка. Да и вообще, любое что-то моложе себя ему бы понравилось. Когда ты почти старик и живёшь один, это важно. А нянюшка просто радовалась возможности с кем-то возиться, кто это позволяет. Вы с братом, говаривала она, как кошка с собакой — ты, как верная собака, ластишься, а братец твой, как кошка, шипит, к себе не подпускает... Ну да, он тот ещё котик у нас... у них. Меня там уже нет. И не будет. Никогда уже, наверное.

Странно, я даже не думаю особо о том, что со мной будет дальше. Что-то да будет. Важно одно — музыка. На самом деле у меня есть план. После ярмарки в Арле можно, примелькавшись властным лицам, попроситься в музыканты к кому-то из

богатых жителей. Развлекать народ за сходную плату. Пусть даже мне будут платить из этой платы очень и очень немного, но держать меня в доме будут не потому, что я там как бы уже есть, а потому, что я музыкант. Я хочу, чтобы меня ценили. Потому что любовь, которая строится на том, что тебя ценят — это настоящая любовь. А когда тебя не ценят, но говорят, что любят — это не любовь к тебе. Это какие-то внутренние чувства самого человека, которые он пытается перенести на тебя. Просто потому, что рядом ты есть.

Как бы мне хотелось быть в пути и днём, и ночью, стремиться вперёд!.. Но я понимаю, что спать всё-таки надо. А для этого, наверное, стоит разжечь костёр. Поэтому я нахожу полянку с кострищем, уже было начинаю подыскивать для костра хворост... но тут слышу мужские голоса, и на всякий случай решаю притаиться за большим деревом. Впрочем, почему за. У дерева есть роскошное дупло, почти от земли. Тут будет тихо, спокойно, а главное — сюда лютня влезает. У дерева отличный широкий ствол!

А вот дальше я прямо-таки не знаю, как быть.

С одной стороны, кострище таки сооружено кем-то, кто явно как раз и уходил за дровами для своего костра — надо было понимать, что такое хорошее место, скорее всего, без хозяев жить не

должно по сути. И эти кто-то — это мужчины, торговцы, которые тоже предпочли сократить путь через лес, чтобы не двигаться по тракту. Наверняка тоже в Арль на ярмарку направляются.

И можно было бы выйти им навстречу, попроситься к костру, поделиться своей едой, спеть песен под лютню, и они бы наверняка и сами едой поделились. И лютню бы отбирать не стали — не разбойники же, торговцы!

А с другой — это я мало что вижу, даже дуэло не сразу заметить удалось. Это мне кажется, что в мужской куртке, штанах, сапогах и шляпе я — очень даже мальчик. А вдруг им так совсем не покажется? Да, я могу быть мальчиком с высоким голосом, конечно. На ярмарке в Арле это в глаза не бросится, что голос непривычно высокий. Да и в богатых домах, в которых я собираюсь играть по дороге, совсем не страшно — там всё-таки хозяева у себя дома, ничего плохого они со мной не сделают. Если достаточно внятно объяснить, что я — Арно Даниэль, дворянский сын — никто не рискнёт влипнуть в неприятности. Вдруг меня искать будут.

А тут — лес. Тёмный. Ночной уже практически. И мало ли что со мной сделают, если поймут, что я всё-таки девочка. Не выжить, на самом-то деле, не страшно. Да и всё, что могут сделать, наверное, можно как-то перетерпеть. А вот

лютня!.. Ну куда я без своей лютни. Лучше, чтобы о ней не знали. А без неё выходить к костру и называть себя бродячим менестрелем прямо-таки глупо. А с ней — боюсь!..

Наверное, никакой я не бродячий менестрель, обычный комнатный ребёнок из поместья на провансальских землях. Потому что я сижу в этом проклятом дупле, скрючившись в три погибели, прижав к себе лютню. Сажу — как позу ни меняй, всё равно неудобно. И боюсь пошевелиться, на самом-то деле, хотя слегка что-то порой и меняю, опору делаю на другую сторону, например. И сижу. И понимаю, что не выйду.

А они кутят долго — ужинают, пьют... Мне бы тоже поесть, но если я начну рыться в мешке и доставать свой хлеб, точно услышат, даже при том, какая у них там гулянка. И всё время понимаю: музыкант с лютней наверняка пришёлся бы к месту! А не могу. Не могу отважиться. Потому что либо я произведу впечатление менестреля, который может развлечь нескольких торговцев у костра игрой на лютне... либо не произведу. И даже если я не покажусь девочкой, могу сойти за глупого, бессмысленного, перепуганного юного мальчика, у которого можно отобрать лютню, а заодно куртку и сапоги. Хорошие сапоги, хорошая куртка, а ребята как раз торговать едут...

Бесчисленное количество раз представляю,

как вот сейчас вылезу из дупла, подойду к ним, скажу: добрые господа, пустите к огню бродячего менестреля?.. Но чем больше проходит времени, тем больше понимаю: вылезти из дупла настолько тихо, чтобы создалось впечатление, что я подхожу с дороги, никак не получится. А сказать, что, мол, извините, был за деревом, вот понял, хорошие люди — слишком поздно уже. Поймут, что не был, а прятался. Да и вообще я в коре и щепках теперь... И во всяких других очаровательных лесных цветах и запахах...

Хорошо, что в дупле хотя бы тепло — костёр пылает совсем рядом, тепло от него до меня доносится. И хорошо, что в конечном итоге они всё-таки ложатся спать. И даже храпят понемногу...

Тихо-тихо выползаю из дупла, двигаюсь в противоположную им сторону — настолько тихо, чтобы ни шороху! В лесу темно, а я и при свете не очень много вижу, но шума надо производить меньше, меньше, ещё меньше — чтобы меня от силы за ночную птицу по количеству шума приняли. Наконец отбредая подальше, ищу ручей. Да, ночью у ручья будет ещё веселее, чем и просто без костра. Но мне нужно постирать одежду хотя бы. Слишком уж долго пришлось просидеть в этом дупле. Потребности, знаете ли, у всех есть. И вот эта самая потребность в какой-то миг и стала

главной причиной, по которой пришлось там и сидеть дальше — «ха-ха, мальчик, ты это от страху?!». Не от страху, а от слишком долгого времени. А оно — от страху, да. Ненавижу себя. Ненавижу свои страхи. Или это не страхи, а осторожность?.. Или я молодец, что мне удалось избежать опасной встречи?..

По счастью, над ручьём хорошо просматривается луна, и мне даже удаётся не свалиться в воду сослепу, а вполне себе, на ощупь, всё отмыть. Лес, ночь, никто меня не видит — нахожу в себе силы пробраться чуточку более вглубь, поджечь хотя бы каких-то пару веток, посушить одежду над костерком — развесить не смогу, костёр недостаточно крупный, чтобы вешать на ближайшем дереве, я недостаточно хорошо вижу, чтобы даже при свете огня найти, на что тут можно было бы штаны ещё повесить, а я при этом только в куртке и сапогах, без штанов... в общем, сушу их, держа в руках. Довожу хотя бы до того состояния, когда они не мокрые насквозь, а влажные, но тёплые. Надеваю. Костерок едва горит, а я падаю на землю у соседнего дерева, прижимая к себе лютню. Поспать толком не получится, ну да хоть сидя подремлю...

Ничего себе — поспать не получится. Когда просыпаюсь, уже ярко светит солнце. Дело к

полудню, судя по всему. И хорошо, хоть отдохнуть удалось. Теперь можно двигаться дальше... Возвращаюсь к ручью, смотрю на своё отражение. Ничего так — вид, после ночёвки в лесу, слегка помятый, но как же хорошо, что сейчас в целом не холодно. И не знаю, что со мной было бы в другое время после всех этих мокрых штанов... Точно решаю: да, надо найти себе дом. Работу — и дом. Играть на лютне, даже за стол и кров — только бы играть, и только бы было тепло!..

К ближайшему поместью выбираюсь буквально за пару часов. Называется, знай я эти места лучше, можно было бы ещё вчера прийти, попроситься переночевать. Но откуда мне их знать-то? Я только в курсе примерного направления. И то планирую дорогу в Арль у хозяев спрашивать...

Нахожу хозяйку поместья — она, по счастью, дома. Рассказываю ей свою слезливую историю про бродячего менестреля Арно Даниэля, про нелёгкую жизнь... Ну что — байка подействовала, едой меня накормили — и хорошо, после весёлой ночёвки в мешке почти ничего и не осталось, — с собой даже дали большой кусок пирога... А вот песен моих ей не надо, оказывается. Ей меня очень жаль, но идёшь, мальчик, в Арль, иди. Такой молодой, даже юный, и совсем один, и идёшь искать лучшей жизни — ты её найдёшь! Но не здесь.

Эх. Теперь зато я тёртый калач. Ещё пара домов, где мои услуги как музыканта не нужны, и там не задерживаюсь, сразу вижу, что ради ещё одного куска пирога, не больше, оставаться незачем — а потом попадаю на семейный праздник. И завидев, что здесь действительно начинается праздничный ужин — к тому времени уже вечереет! — радуюсь, и выхожу к людям с криком «Господа! Я, Арно Даниэль, дворянин, ушедший от родителей в бродячие менестрели, пришёл вам спеть и порадовать вас сегодня!».

Ну что. Меня слушают. Вначале слушают. А потом просто пляшут — под лютню. Руки болят от натуги — который час кряду играю! В кружку подливают вина, но пью я его потихоньку — мне ещё работать как-то... А они всё подливают и подливают, им нужен музыкант, который будет петь без усталости — и как-то уже и я всё пью и пью, и даже какие-то народные мотивы подбираю по просьбе хозяев... В общем, засыпаю глубокой ночью, на сеновале, в окружении таких же захмелевших гостей. И, проснувшись, понимаю — нет, не такой я хочу жизни. Не той, где людям нужна не музыка, а так, веселье. Я не шут, я музыкант! Вот только бродячим менестрелем я этого никак не проявлю. Так и буду шутом-гулякой. Кружка вина здесь, две кружки там... в общем, жить я так смогу недолго.

Нет, в Арль. Надо идти в Арль, другого выхода у меня и нет. Бродить по трактам, людей развлекать — уже плохая идея. По счастью, лесная дорога как раз вывела меня на тракт, по нему и иду. На семейном празднике мне, конечно же, ничего не заплатили. А зачем тебе, музыкант — удивилась служанка, самая трезвая среди похмельного сброда, — ты же на пиру был, хотя чужак, и никто с тебя ни гроша за это не взял! И я понимаю, что так и будет всё время, пока я буду просто бродить по трактам.

После ночи под деревом и ночи на сеновале больше всего хочется просто поспать в тёплой постели. Но на это — ни надежды, ни возможности — ничего! Дворянин, ушедший от родителей в бродячие менестрели, будет ночевать где придётся! Впрочем, в этот раз дворянин разжигает приличный костёр в рощице в стороне от тракта, и спит под этим костром почти так же, как после вечера в дупле. То есть как убитый. Уж явно лучше, чем спяну на сеновале. Весь день — по тракту, всех припасов — то, что удалось у служанки вместо жалованья за игру выпросить. Я начинаю думать, что я ничтожество.

Кто я? Полуслепой человек непонятного пола, которому для того, чтобы быть мужчиной, не то нужных органов, не то смелости не хватает! У которого на лице рытвины — и это повод его

родителям считать, что всё, пропало будущее ребёнка! Музыкант, который нужен разве только чтобы вином напоить и народных напевов выпросить! Кому нужны мои собственные песни, кроме меня самого? Наконец-то перехожу даже в мыслях на мужской род — это оказывается совсем не сложно.

Посидеть бы ночью у костра с лютней — поиграть хотя бы для леса и для неба... Но после блужданий по трактам и после того безумного вечера на празднике никаких сил уже нет, попросту руки болят играть, и спина — сидеть. Да и не хочу я так — чтобы меня не слушали.

А может, стоило всё-таки остаться жить у Эдвара?

А может, стоит всё-таки к нему вернуться?

Или сначала добраться до Арля и пережить ярмарку?

С такими мыслями и трогаюсь в путь снова. Я хочу только одного — знать, где буду ночевать завтра. Странствующая жизнь оказывается совсем не для меня. Но что тут поделаешь? Ничего уже, и никак. До Эдвара уже столько же, сколько до столицы. Так что лучше уж в Арль. Если я не могу даже из дупла ночью вылезти без страха перед самыми обычными торговцами, то хотя бы до Арля у меня дойти должно получиться?!

Но я больше не хочу играть по поместьям!

Просто — не хочу. А есть хочется. Но чтобы поесть, нужно где-то остановиться... В конечном итоге прихожу в самую обычную притрактовую деревню. Стучусь в первые попавшиеся двери, но там, понятное дело, никому менестрель не нужен. Указывают, где таверна. Добираюсь до места — а там вполне себе людное место, дорога в Арль всё-таки. Так что меня с радостью пускают — вон там, в углу, садись, играй, можешь шляпу свою поставить для монеток, мы тебе через пару часов ещё ужин дадим.

Восхитительно! Я хочу есть сейчас — иначе что мне было бы делать вообще в таверне, возле людей, с которыми и видеться не хочется?! Но, само собой, кормить меня будут только тогда, когда убедятся, что публика не бросается в меня стаканами. Нет, даже не поливают из стаканов. Кажется, им просто до меня дела нет. И шляпа почти пуста.

Но хозяин заведения всё равно доволен — нет бурного восторга, так что же? Зато у него заведение с музыкантом! Так что приходится играть — хорошо хоть не до рассвета, путники всё же стремятся лечь спать пораньше. Как только внизу становится тихо, хозяин отводит меня наверх — отводит место, у него как раз сегодня есть свободная кровать в общей комнате. Мало того, что ночевать приходится вместе с толпой пьяных, так

ещё и насекомых полно — а чего ожидать от деревенской таверны? И кровать настолько жёсткая, что лучше бы уже было спать в лесу... Здесь тепло? Здесь такой смрад от спящих, что лучше стоя в канаве по грудь, но чтобы голова была на воздухе! Особенно — то, что они все снимали сапоги. И теперь запах усталых, исхоженных ног стоит, наверное, на всю таверну... Сон, словом, получается... страшный. Мне снится какая-то сплошная муть, и я в ужасе думаю, неоднократно просыпаясь среди ночи: неужели Арно Даниэль, дворянин, обрёл себя на такую жизнь, среди грязи и смрада? Неужели Арнетт Даниэль... впрочем, нет больше никакой Арнетт Даниэль. И не будет. Никогда. Всё-таки возвращаться ни к родителям, ни к Эдвару я не могу. Это признать своё поражение. Это сдать в войне с этим миром... Ох, право слово, лучше бы у меня обоняние после оспы отказало, а не зрение.

До Арля добираюсь впроголодь. То есть совсем впроголодь — ничего, кроме порой найденных вдоль дороги кустов с ягодами, мне не встречается. Я больше не могу заходить ни в таверны, ни в поместья. То, как мне повезло в том, самом первом доме, когда меня и накормили, и еды на дорогу дали — это да, это редкость, и вызвано это было только моей громкой историей про

несчастливого дворянина. Нет во мне уже сил на такую историю. Весь этот путь — слишком долгий, слишком сложный. Слишком... странный. Слишком больно — особенно в желудке, когда ложишься спать у костерка и жуешь веточку, показавшуюся съедобной, чтобы уже хоть как-то, хоть что-то... Больно — когда идёшь по дороге, вперёд и вперёд, и понимаешь, что всё, что у тебя есть — это возможность идти, а есть тебе нечего, и самое большее, что радует — это то, что хотя бы ручьи и колодцы найти по дороге возможно...

В город прихожу ещё до открытия ярмарки. Торговцев уже довольно много, они уже свои места оборудуют, но кому буду играть я? Торговцам? Местным жителям? Опасаюсь просто так играть на улице — в это время года ткнут носом в то, что ярмарка ещё не началась, а я уже людей заставляю раскошелиться. От отчаяния нахожу торговца одеждой и продаю ему шляпу. Да, мне казалось, в шляпе я буду лучше смотреться, и деньги уже хотя бы за неё давать станут — но что уж там, в мужской одежде я всё равно не менее мальчик, чем в мужской одежде и мужской шляпе, а если моя близорукость и вправду не позволяет заметить, что ничего мужского во мне нет, то этого уже шляпой не исправишь. Зато благодаря деньгам, вырученным у торговца за шляпу — понимаю, он за

неё потом выручит больше... надо было натаскать у брата побольше одежды, с собой взять, сейчас бы какие-то деньги были, а мне всё казалось, что я музыкой заработаю... словом, благодаря деньгам за шляпу могу хоть как-то и где-то пристроиться! Нахожу приличный постоялый двор, там в основном торговцы живут. Нахожу и силы на жалостливую историю про дворянина, которого никто не любит и не ценит, мало того что возлюбленная другого суженого нашла, так ещё и музыка моя никому не нужна в провинции, вся надежда на Арль... Понятно, как музыканта меня здесь не хотят, но «а нам сыграй», и играю хозяевам двора, и им даже скорее нравится, чем нет, и мне дают на мои, вырученные за шляпу, деньги возможность остановиться на постоялом дворе до первого дня ярмарки, ещё и стол предоставляют... Конечно, это опять комната с торговцами, зато тут кровать помягче, и окна настежь, проветривается хорошо. Так что смрада такого уж сильного не стоит — и я неплохо отсыпаюсь, да и на следующий день больше валяюсь в записанной за мной кровати, пишу стихи — хорошо, что хватило ума письменные принадлежности не продавать!.. — да ещё и спускаюсь порой поесть и даже что-то сыграть хозяину вечером, когда возвращается... Ярмарка начнётся на следующий день. И у меня наконец-то получилось отдохнуть.

Всё скорее начало налаживаться, чем нет, но если ярмарка не принесёт мне желанного успеха и места в жизни, я, наверное, точно умру... наверное или точно? Точно наверное, решаю я, и засыпаю снова, с мыслью, что всё-таки, если меня ведёт сердце, значит, я приду именно туда, куда надо мне, а не куда меня хотели бы отправить другие люди?..

III

*Свет, место, время и любовь
мне мудрость возвращают вновь.
Я раньше был охотник. Бой
меня повлѣк ведь за собой,
И я сражался, но теперь
Мудрее стал, ты мне поверь.
Теперь люблю! Удачи свет
рассеял тьму! Вот только нет
любви твоей — и в сердце вновь закрыта
дверь!*

*Тот, кто полюбит целый свет,
богатым станет в том, что нет
ни боли, ни потерь, ни зла!
Он бедным был — беда ушла!
Вот почему избрал любовь,
Глаза не закрываю вновь,*

*Клянусь, коль дашь мне свет, любовь,
Я в мире буду с миром, что ты мне дала!*

*Бывает, радости лишь хочет человек.
Я был таким, но это не навек.
Однажды в сердце наступает боль,
что может победить одна любовь.
И если ты мою тоску не утолишь,
То в моём сердце будет только тишь,
И в старца ты, конечно, превратишь
Меня. И я умру. И боль... умрёт со мной?*

*Не знаю, кто бы Господа любил
так сильно, пусть священником бы был,
как я люблю, люблю любовь свою!
И я о ней лишь об одной пою!
Она — как будто просто часть меня,
и будь я королём, будь графом я,
я чище бы не стал, любовь моя,
чем есть сейчас, когда тебя воистину люблю!*

*Я был испуган, я в сомненьях был,
Теперь я лучше стал, я полюбил!
И пусть гроза, и пусть суровый дождь,
я буду лишь любить, иное — ложь!
Лет пять... иль шесть?.. я был не для любви,
теперь я для тебя! Лишь позови,
и буду я страдать или любить,*

*но со счастливым, полным сердцем буду
жить!*

*Так много знаков, и такой далёкий зов
меня позвали вдруг. Я был готов!*

*Теперь я вижу только лишь тебя,
и песню новую пою, любя.*

Мне жаловаться не на что, поверь.

Ведь счастья не бывает без потерь.

*Ну, сердце, эй! Вперёд! Страдаешь? Верь:
ты продолжай, и оправдает боль-любовь
себя.*

*И золото железа злее было,
пока я золото своё не полюбил.*

Arnaut Daniel

Ну что же, ярмарка началась.

Солнце сияет — хороший день, хороший во всех отношениях. Тут ничего не возразишь. Как бы мне ни хотелось просто покончить со всем и больше никогда не играть для людей, сегодня всё кажется далеко не таким тяжёлым, не таким плохим, как было.

Сейчас я попросту не знаю... наверное, надо убираться домой. Надо доиграть на ярмарке,

заработать какую-то сумму, не тратить её, а добраться до родного поместья. Сказать: дорогие родители, вы говорили, я ни на что не гожусь после оспы, а вот сколько мне удалось заработать за одну только поездку в город Арль! И я могу жить и действовать самостоятельно, и ничего в этом страшного нет. Мне совершенно нет необходимости срочно искать хоть какого-нибудь мужа!..

Да, может, это и повлечёт за собой скандал, но всё равно что-то как-то да решится. Запирать меня после этого в комнате будет просто глупо. Конечно, то, что меня угораздило выменять Белянку на лютню, может показаться им оскорбительным, но, может быть, мне просто купят новую лошадь? Если дочка может совершать такие серьёзные торговые сделки... А брату куплю новую шляпу, ещё лучше и ещё краше. И вещи верну. Тогда ни перед кем не будет вины!..

Именно с такими мыслями и играю — вначале на ярмарочной площади, потом меня оттуда вытесняют: эй, мальчик, тут мы играем! Ребята, которые пришли вместо меня, явно здешние, у них со всеми всё договорено, и лучше уж я не буду лезть в чужой монастырь, то есть на чужую ярмарочную площадь. Отойду в сторону, вот неплохой переулочек есть, тут люди часто ходят. Жаль, шляпы больше нет, но на холщовый мешок

деньги всё равно кладут. А я даже достаточно хорошо на всё реагирую, чтобы ни один воришка не смог вот просто взять и утащить деньги с мешка — ка-а-ак замахнусь лютней!.. Она тяжёлая, между прочим. Даром говорят, глаза больные, ничего не увижу... Если у меня моё забирают, я всё увижу!..

Конечно, немного обидно, что с ярмарочной площади выгнали. Но люди же всё равно подходят. Какая-то женщина дала пряник — мелочь, а приятно. Можно перекусить. В таверне, где удалось остановиться, накормили с утра, но это давно было. Сколько я тут уже часов? Солнце над горизонтом высоко поднялось, значит, утро давно кончилось...

И тут вдруг слышу:

— Мальчик, а можно, я тебе заплачу, а ты мне дашь лютню — песню сыграть?..

С одной стороны, мне дадут отдохнуть. Это хорошо. Это даже очень хорошо! Надо же хоть иногда передохнуть. А человек заплатит. Да и люди, если он толково играет, будут продолжать деньги давать. И я могу всё забрать себе.

С другой стороны, что значит — заплатят за то, что я дам лютню?.. Мои песни не нужны?

Поднимаю глаза. Передо мной стоит человек — высокий, широкоплечий, хорошо и богато одетый. Волосы светлые, с рыжеватым отливом. И глаза — зелёные-зелёные, просто утонуть в этих глазах. Даже не потому, что они зелёные. Просто

потому, что глубокие. Что явно скрывают за собой содержание — настоящее. Глубокое. Искреннее.

Потому молча отдаю лютню. А что тут ещё поделать? Он начинает петь, поёт он по-английски, и я особо не вслушиваюсь в текст. Оригинал, однако — говорит на окситанском, песни на английском поёт... Мне сложно слушать, мне сложно переводить, хотя английский язык я, в целом, знаю. Я сейчас, с одной стороны, смотрю на мечтательные зелёные глаза, на длинные, но сильные пальцы, которые перебирают струны лютни... а с другой терзаюсь: неужели ему не было интересно послушать меня? Он же не стоял тут, не слушал. Вышел из-за угла, попросил лютню...

Но, наконец, лютню передают в руки мне:

— А ты — сыграешь?..

Одобрительно киваю: вот так-то! Наконец-то! Нет чтобы сразу попросить меня сыграть... С другой стороны, он, наверное, хотел, чтобы вначале мне стало известно, с кем я имею дело? С музыкантом! Не худшим, чем я, между прочим. Совершенно ни в чём не худшим! И, кстати, действительно мужчиной. Не, как я, переодетой девочкой... ладно, про переодетую девочку умолчим. Не как я — мальчишкой.

Пою одну из своих серенад, он одобрительно кивает: ещё! Играю ещё. И ещё. После третьей примерно песни мне внезапно жмут руку:

— Ричард.

Он говорит своё имя по-английски, и я понимаю: песню он по-английски пел именно потому, что и вправду англичанин, а не так, выпендривается.

— Ришар? — переспрашиваю.

— На окситанском — конечно, Ришар. Но так вообще-то — Ричард. Я англичанин.

— Англичанин, который знает окситанский? — хоть уже это и понял, всё равно удивляюсь.

— Англичанин, у которого семейное дело — вина в Бордо, — вздыхает Ричард. — Тут попробуй не знать окситанского! Разве с вашими можно что-то выяснить, если языка не знать?

— А сколько лет вы в деле? — интересуюсь. Ему явно не очень много лет. Ну двадцать пять, ну никак не больше. А язык чувствует, как родной, судя по всему.

— Меня больше тридцати лет к этому готовят, — он смеётся. — Я средний сын в семье, а средним сыновьям вечно полагается какая-то странная ересь — например, следить за родительскими виноградниками.

Больше тридцати лет?! Ничего себе. Эдвару где-то столько же, может, чуть-чуть больше, может, ближе к сорока. Но Ричард выглядит гораздо моложе.

— Сыграй ещё, — просит Ричард тем временем. — Только представься сначала.

Улыбаюсь: — Арно Даниэль.

— Хорошее имя, — одобрительно кивает мой новый знакомый, и я вдохновенно начинаю играть.

Понятно, сейчас задача — произвести на него впечатление. Я хороший музыкант. Я очень хороший музыкант! Тогда, может быть, мне не придётся уходить к родителям? Если он занимается родительскими виноградниками в Бордо, значит и живёт где-то тут, у нас. А значит, у него есть дом. Вернее, поместье. Ну как сын у такой семьи, где у родителей — виноградники, да ещё и так хорошо одетый, может не иметь пристойного поместья?.. И тогда, быть может, он пригласит и меня. Да, он и сам играет. Ну так в том-то и дело! Он сам музыкант, но может музыкой только развлекаться — мешает семейное дело. Так что вдруг ему понадобится тот, с кем можно играть свободными вечерами? Ну почему нет, отлично же будет, правда!..

Песен через пять Ричард меня перебивает:

— Пошли, я тебя вином угощу.

Здравый смысл где-то внутри головы у меня ещё остался:

— Я планировал денег заработать сегодня...

— Ещё только первый день ярмарки, — он беззаботно машет рукой. — А я тебе за

сегодняшнюю встречу и за то, что одолжил лютню, заплачу отлично, поверь. Уж явно не меньше, чем ты бы тут, на задворках всего веселья, собрал.

Возразить нечего. Называется, планировал не пить много. Боялся, что либо сопьюсь, либо чего похуже. Господи, даже будь я мальчиком настоящим, столько пить было бы много, сколько может выпить бродячий менестрель! А я ещё и не очень-то мальчик, хотя и стараюсь об этом вовсе не помнить.

Но отказаться не могу. У него слишком глубокие, слишком красивые, слишком зелёные глаза. Да, я не очень-то мальчик.

Что я буду делать вот сейчас? Когда пойду с ним пить? Когда буду сидеть и понимать, что хочу его прикосновений — таких же властных и нежных, как когда он перебирал струны моей лютни?! Что я хочу быть лютней в его руках?! Хочу, чтобы он играл на мне свою музыку, на моей душе... на моём теле... И мне придётся делать вид, что я — самый обычный мальчишка-менестрель. Что я совсем не то, чем являюсь. Что я ничего такого не хочу. Лучшим решением будет отказаться.

И я молча беру лютню под мышку.

В таверне — уровнем выше, чем та, в которой я жил последние дни — почти пусто. Как же, народ на ярмарке. Может быть, в каких-то

недорогих возле площади и полный зал, но тут собирается серьёзная публика, и соберётся она только вечером, как с ярмарки придёт. А теперь вот сидим мы — я и Ричард.

— Ришар, — начинаю.

Он перебивает:

— Знаешь, что мне всегда напоминало это ваше провансальское «Ришар»? Ваше же словечко «ренар», лис. Я лис, конечно, местами, и даже хитрый. Но я всё-таки Ричард, пусть и немного рыжеволос. Ренаром мне бы скорее тебя назвать захотелось — Лисёнком, словом. Ты тот ещё лисёнок, только немножко поцарапанный в лесных боях.

Смеюсь, указывая на своё лицо:

— Страшно, да? Боевые шрамы?

— Выжить после оспы — сильное достижение, — совершенно серьёзно говорит он, и я верю. Впервые чувствую, что это и вправду «царапины от лесных боёв», а вовсе не печать, которая не даст мне никогда никого любить — вернее, никому никогда любить меня. Это знак силы, а вовсе не слабости. Просто женская сила — быть красивой, а мужская — побеждать. Мне удалось победить. Значит, и сила мне — мужская.

— Правда, — продолжает Ричард, — я не в первый раз уже вижу кого-то, что пережил оспу, но у тебя к этому такое... лисье отношение. Ты словно

бы вынюхиваешь путь наверх, и выходишь из норы, полной пусть даже гниющих трупов. Лишь бы наверху было солнце.

«Ты — моё солнце», вертится на языке, но понимаю, что это мне просто, наверное, хорошая погода в голову ударила. И то, что первый человек, встреченный мне и воспринявший меня как Музыканта, а не как какого-то там бродягу, который при этом не заботливая пожилая женщина, оказался таким вот... красивым. Сильным. Умным. Содержательным и глубоким, вот! Я вижу, сколько в нём содержания. Да хотя бы вот это вот «лисёнок» по отношению ко мне. Лисичкой меня братец дразнил иногда, но он же не первый год меня знал. А тут вот — с первой встречи...

— Арно, — Ричард, помолчав немного, говорит дальше, — мне почему-то кажется, что ты на самом деле человек очень сильный.

Я выпиваю бокал залпом. Почему бы и нет, почему бы и не начать пить так, как будто я самый настоящий бродячий менестрель. Если я сильный человек — то от меня и требуется сила!

— Мои родители так не считали.

— Рассказывай, — он смотрит на меня требовательно, настойчиво, даже властно, и я не могу отказать, начинаю. Чуть запинаясь, но в остальном с достоинством, как будто песню пою, рассказываю ему, как мать страдала, что ничего со

мной уже не поделаешь. С некоторыми исправлениями, конечно.

— Был такой красивый мальчик! — стараюсь воспроизвести страдальческий голос матери. — А теперь что с тобой поделать, на ком тебя женить! Так и будешь бобылем? А кто тебе еду приготовит, кто в доме поможет?! Ты же не видишь почти ничего!..

— А и правда — не видишь? — спрашивает Ричард.

— Что-то — вижу, — усмехаюсь. — У тебя глаза зелёные, например.

— Это уже достаточно хорошее зрение — рассмотреть цвет глаз, — он смеётся. — Многие за всю жизнь разглядеть и запомнить цвет глаз даже жены не могут, не то что случайного прохожего.

У меня буквально дрожит сердце от слов «случайного прохожего». Я не хочу, чтобы он был случайным прохожим! Не выдерживаю, наливаю ещё вина, руки от волнения чуть дрожат, немного проливаю на стол... выпиваю залпом остальное и заявляю:

— Тоже мне случайный прохожий. После этих странствий я только в тебе живого человека увидел.

Он смотрит на меня вопросительно, и я рассказываю, рассказываю всё, что происходило. Не умалчиваю даже про торговцев у костра: тут

можно честно сказать, что не знаю, что они могли бы со мной сделать. Какая разница, девушка я под мужской одеждой или нет. Торговцы — они такие торговцы...

У Ричарда в смеющихся глазах плохо скрываемая тревога:

— Слушай, как же ты... один? Тут, во всём этом... На трактах, в лесу... Ещё и после оспы, с плохим зрением... Арно, нельзя так, лисёнок. Лисята должны жить в норках, разве не так?

— Считаешь, мне стоит вернуться домой? — расстраиваюсь.

— Да нет, — пожимает плечами. — Ты же сам сказал, что там для тебя не дом. Дом тебе нужен. Но не тот.

— Но не тот, — отзываюсь эхом.

Мы молчим какое-то время. Попиваем вино. Потом он берёт у меня лютню — и начинает играть. Несколько песен у него по-окситански, есть и по-нормандски — ну да, при виноградниках в Бордо лучше все окрестные языки знать. Я слушаю. И смотрю на него. Во все свои почти невидящие глаза. То, что он красивый — различимо. И то, насколько глубокий у него взгляд. И то, насколько он кажется сильным. И ещё меня сильным называет... нет, надо избавиться от этих мыслей. Не думать о таком. Я мальчик. Я Арно Даниэль. Я не могу всерьёз хотеть объятий... поцелуев... ласок

случайно встреченного англичанина. Арно Даниэль, Арно Даниэль... повторяю про себя, как молитву, и пью всё больше, больше, больше вина.

А он даёт лютню обратно мне в руки:

— Теперь ты играй!

Что остаётся. Песня за песней, я чувствую, что посвящаю их только ему, только ему одному. Каждая нота — для него. Каждая частичка мелодии. Как будто они всегда посвящались ему, Ричарду-Ришару. Ему, рыжеватому блондину, высокому, сильному, и такому молодому для своих тридцати с лишним лет! Такому... юному сердцем. Юное сердце всегда по лицу видно. А по глазам... по глазам он словно бы древний старец. Никто иной. Потому что даже в тридцать с лишним лет такого глубокого взгляда просто не бывает.

Что дальше? Я плохо соображаю. Вот я уже рассказываю ему про своё детство, и как меня доставал брат, и у меня уже нет уверенности, что я не выбалтываю чего-то лишнего, из чего можно понять, что детство моё мне пришлось провести девочкой. Вот и он рассказывает про братьев, с которыми очень сложные отношения — «мелкий — идиот, старший — отцовский прихвостень! Сколько мы с ним против отца восставали, так он перед смертью всё равно прощения вымаливал!», и у меня руки дрожат от мысли, как страшно, должно быть, потерять брата уже взрослым, и как, рассказывает

он, мама с отцом никогда не ладила, и как третий его братец был свой, совсем свой, но тоже погиб, и лучше бы они оба, и старший, и младший, но не Джеффри... тут мне становится совсем страшно, и я взахлёб рассказываю про своих брата и сестёр, которые умерли детьми, и как мне толком их и узнать не довелось... понимаю, что после горя Ричарда это такая чушь, такая мелочь, но он, кажется, понимает меня...

Потом он снимает для нас отдельные покои наверху, под крышей. Отдельные покои! После ночей в общих комнатах в тавернах ночёвка в покоях вдвоём с человеком, с которым я совсем, вообще не хочу расставаться — после этого это словно бы королевский подарок. Понимаю — у Ричарда есть деньги... Впрочем, почему у Ричарда. У Дика. К этому времени он уже пьёт со мной из одного бокала, и рассказывает, что имя Ричард же сокращается как Дик, и именно так он и хочет, чтобы я его называл. Я его — Дик, а он меня — Лисёнок. Это так правильно, это так здорово, так по-настоящему!.. И мы с Диком поднимаемся наверх, куда нам приносят ещё вина, и я сижу на краю кровати, подобрал ноги, а потом просто плюхаюсь на пол, и лежу, растянувшись на полу, пью, лениво подбирая с пола бокал, и напеваю что-то даже без лютни, без аккомпанемента, и он тоже поёт, и мы поём вместе, и это так прекрасно,

так чудесно сочетается — его голос, глубокий, мужской, и мой — тонкий, девичий, который, конечно же, для него — мальчишеский...

Дальше я помню всё совсем плохо. Мне кажется, что я лежу на кровати, и касаюсь руками его светлых, с рыжим отливом, волос... его взлохмаченных вихров! И он целует меня... или не целует? Где-то там, где я разве что сам себя иногда трогал... трогала... но ведь именно там и видно, что я не мальчик... Я ничего не понимаю, может, всё-таки снится? Скорее всего, всё именно так. Ну не может быть такого, чтобы мне настолько легко удалось себя выдать, раскрыть то, что меня на самом деле зовут Арнетт, и чтобы в конечном итоге и вправду оказаться в постели с Ричардом... тем более что когда просыпаюсь — он спит на отдельной, на второй кровати в покоях, значит, уснули мы врозь?

Или всё-таки вместе, а перебрался он туда, чтобы меня не напугать? Я ничего не понимаю. И очень хочу спросить, но как?! Как тут спросишь «эй, Дик, а ты часом не выяснил ночью, что я всё-таки девочка, а не мальчик?». Ну и самое главное — у меня ничего не болит. Говорила мне нянюшка, что после первой ночи с мужчиной болит всегда, а тут вроде бы ничего такого и не было, чтобы что-то болело... но, может, он ничего такого и не делал? Ничего не понимаю. Ни-че-го!

Поднимаюсь. На мне из одежды только рубашка, и это пугает... с одной стороны. С другой — я лежу, хорошо закутавшись в одеяло. Кто знает, когда меня угораздило снять штаны и куртку? Увидеть, что ноги, торчащие из-под длинной рубашки — женские, а не мужские... довольно сложно всё-таки. Или это моя близорукость говорит, что сложно? А на самом деле, хорошим, сильным взглядом, легко? Но, наверное, если что-то между нами было, Дик скажет?..

Одеваюсь. Собираюсь тихонько выйти из покоев — поиграть прямо у порога таверны. Тогда и Дик меня легко найдёт, когда уходить будет, и я, может, чего-то ещё заработаю... Но от скрипа двери он, конечно же, просыпается.

— Ну и куда ты планируешь от меня сбегать, не позавтракав?

Объясняю. Смеётся:

— Это хорошо. А то я уже подумал, что всё, после вчерашней пьянки ты бежишь на край света от ужасного человека, который так тебя напоил.

— Так — это как? — уточняю. — Я о вчерашнем мало что помню...

Он улыбается, притом, как мне уверенно кажется, довольно коварно:

— И не надо тебе ничего помнить. Пошли завтракать. Вернее, спускайся вниз, попроси вынести еды... и настой травяной какой-нибудь

заварить, после вчерашнего-то вина. А я спущусь чуть позже.

Послушно спускаюсь. Не могу ему не повиноваться. И даже не потому, что за завтрак он платит. Просто... просто не могу. И чего, скажите на милость, чего мне не надо помнить?! Что ночью что-то всё-таки было?! Или что-то ещё? Что мне удалось вычудить ночью?!

— А у меня к тебе предложение, — рука Дика, подошедшего сзади к моему столу, как бы ненароком касается моей щеки. Резко оборачиваюсь, он опять смеётся и садится напротив меня.

— Это ещё какое? — смотрю на него с подозрением. После прошедшей ночи мне уже всё кажется вероятным. Даже то, что мне это всё-таки не приснилось, и что сейчас он скажет, что теперь знает: я — девушка, а дело его семьи — это вовсе не виноградники, а публичный дом, и он может предложить мне работу...

— Будешь моим менестрелем?

Вчера об этом мечталось. Сегодня — страшно слышать почему-то.

— Стол и кров, ну и всякое там необходимое, — машет он рукой неопределённо. — Много денег не обещаю, мало ли на что ты начнёшь их тратить, лучше я тебе сам всё куплю. Вы, лисята,

такие ненадёжные в этом плане...

Наверное, в таких случаях краснеют. Или злятся. Но я только слушаю — с замиранием сердца.

— Есть только один нюанс, — он вздыхает. — Я же не всё время тут живу. У меня мать за морем. И я к ней сегодня отправляюсь.

— Сегодня?! — это у меня уже срывается с губ.

— Сегодня. И, если захочешь, поплыли со мной. Мама любит музыку.

Неожиданно. Неожиданно до невозможности. То есть мне предлагают увлекательное морское путешествие?..

— Если тебе что-то не понравится — потом поплывёшь со мной обратно, мне же всё равно в Бордо возвращаться, — говорит он успокаивающе, как будто бы меня надо успокаивать. Обратно?! От него?! Я?!

Так и говорю, не удержавшись. Он смеётся:

— Не зарекайся. Поживёшь со мной — ещё поймёшь, почему от меня порой хочется бежать.

— А если хочется не бежать? — спрашиваю.

— Тогда хотеть надо сильно, — говорит Дик очень даже серьёзно. — Ты сильный, ты даже оспу пережил. А если сильно хотеть от меня не сбежать — то не сбежишь.

Что поделать. Я хочу. И не сбегу.

Только осознать, что всё это происходит именно здесь, сейчас и со мной, как-то не получается.

И ладно. У меня будет целое морское путешествие, чтобы что-то понять, осознать, прочувствовать.

Если это вообще будет надо, когда Дик со мной рядом.